

Валеру Меньшикова мы с товарищем Гешкой увидели впервые на заповедном берегу Байкала, приплыв туда на пароходе «Комсомолец» сразу после окончания школы в Смоленске. Приехали мы туда работать лесниками, начитавшись Арсеньева и Федосеева. И сразу в первый же день увидели и впрямь суровые лица таежников, ну, не то, что суровые, но обветренные и загорелые и довольно спокойные точно. Правда, книжных бородачей там и не было. Но вот один человек, широкоплечий, с мощными руками, мощной грудью бороду носил, вернее, как писали раньше, был в бороде. Черная борода спускалась на грудь. С такой же бородой, узнал я позже, обычно писали Василия Великого. С этим отцом церкви Валеру Меньшикова, а именно так звали бородача, роднило еще одно обстоятельство: он проповедовал своеобразное монашество особого толка – экологическое. Замышлял создание заповедника нового типа, основанного, правда, уже на буддийском требовании непричинения зла живому, на созерцании и разумном аскетизме.

Об этом я узнал не сразу.

Первое время мы с товарищем жили не на центральной усадьбе, а на Северном кордоне. Но потом нас перевели в поселок Давша. И тогда мы сумели познакомиться с этим человеком. Он как-то сам зашел к нам в дом, где мы мерзли, несмотря на огромную печь, – а сколько ни топили, натопить не могли. На нем была телогрейка, схваченная в поясе широким кожаным ремнем электрика с цепью для лазания по столбам. В Баргузинском заповеднике Меньшиков работал электриком. Но не только. Еще и печником и одно время хлебопеком. Сейчас он проверял всюду электропроводку, вот и зашел в наш дом. Печку нашу он забраковал. Сказал, что ее клал скверный мастер. И ничего тут не поделаешь, ее всю надо сносить, тепла она не держит. Но дом не частный, поэтому надо спрашивать разрешение у руководства заповедника. (Так ничего там и не перестроили, в разгар январских морозов мы просто спбеджали оттуда, нас приютил лесничий Алексей Троицкий, тоже своеобразная личность, потомственный лесовод, бессребреник и слегка не от мира сего.) С моей тумбочки у железной кровати Валера взял древнегреческие трагедии, которые я, каюсь, забыл сдать в библиотеку, уезжая из Смоленска, и в последний момент просто прихватил с собой. (Много позже, уже вернувшись в родной город и снова записавшись в библиотеку, я был избалован, но милая библиотекарь Татьяна Федоровна разрешила мне принести взамен какую-то другую книжку; в свое оправдание мне нечего сказать... разве что это: сквозь все мои романы байкальского цикла проходит древнегреческая нить, и этой книжке я обязан рефреном: «Безумье? Пусть. В нем слава Диониса.») Валера полистал книжку и сказал, что бывал в приближенных к Греции краях – в Крыму. Одно время они с женой обитали там в старом домике, познакомившись в геологической партии в Сибири, оба были геологи, но жена его синеглазая лобастая чудесная Лида была родом из Воронежа, а Валера родился тут неподалеку, за Баргузинским хребтом – в Баргузине, том самом, в котором отбывал ссылку друг Пушкина Кюхельбекер. И возле дома Кюхельбекера жила родная тетя Меньшикова. Валера в годы молодые обретался то в Улан-Удэ, то в Иркутске, любил пропадать в тайге, ночевать на сопках под русскими и уже монгольскими и китайскими звездами,

читать всякие книги, и больше всего ему по душе были стихи. А как иначе, если уже и сам кропал такие вот вирши:

Я Пушкину стану собратом.
Не кричите: Парнас не про нас,
Если нынче скачусь обратно –
Завтра грянет победный час...

(«Час не грянул, – заметил потом в письме Валера. – Сейчас-то мне ясно, что часы надо делать, заводить – только тогда и грянет».)

После института уже ходил по Сибири в геологических партиях. Там и увидел свою синеглазую Лиду с необыкновенными белыми зубами, даже подсматривал утром, как она умывается в ручье, – чем таким чистит зубы? Да чем, обычной пастой «Жемчуг»... Но если у других от этой пасты зубы были так себе, у Лиды – и впрямь сверкали жемчужно. Да вот решили они отдохнуть от лютых сибирских зим и лет, полных комарья, мошки и клещей, и поселились вблизи моря в Крыму. И там Валера напитывался ветрами далекой, а для сибиряка уже близкой, Эллады.

Впрочем, все же иные поэтические страны были ему более по душе. Прежде всего, конечно, Русь, Россия. Любил он Пушкина и Хлебникова, Пастернака и Мандельштама, Есенина, Рубцова. Стихи последнего я впервые услышал от него. Точнее, не услышал, а прочел – уже в далеком афганском городе Газни, в полку под этим городом. И с тех пор стихи Рубцова со мною.

И многое еще довелось узнать благодаря этому человеку. Он являл собой тип народного просветителя, мудреца навроде Сократа или нашего Григория Сковороды или американского Генри Торо.

Разрабатывая план создания нового заповедника, Валера штудировал древних мудрецов – Лао-цзы, Чжуан-цзы, читал Библию и буддийскую литературу, различных философов. Лида практически помогала ему: отбирала письма, приходившие в заповедник со всех концов СССР, – а работала она секретаршей в конторе. В заповедник писали военные в отставке, летчики, студенты, журналисты, ученые, хиппи, романтично настроенные школьники, поэты. С авторами самых интересных писем вступала в переписку Лида, а потом уже и Валера. Так подбирался персонал для будущего заповедника людей.

Вот, в журнале «Знание – сила» в седьмом номере за восемьдесят второй год выходит статья Н. Реймерса «Сохраняя, процветай», «экологическая и, по-моему, правильная», замечает Валера. В ней автор касается перспектив развития человечества, отмечая идею переселения в космос по той причине, что биологический вид не может существовать вне среды, сформировавшей его. Что же делать? Реймерс отвечает, что надо создавать новую иерархию ценностей, «видимо, – резюмирует Валера, – супротив идеалов потребительства – но до конца он этого не говорит, можно лишь понимать так». Ну, да, год-то какой. Вот-вот помрет Брежнев. Или уже помер. И лесничий Троицкий, тоже входивший в число единомышленников Меньшикова, отправляет письмо этому Реймерсу, «хотя он и доктор наук, а мы... как ни дуйся, а дистанция огромного размера».

Так и не узнал я, что ответил доктор Реймерс. И ответил ли вообще. В то время мы как раз бороздили афганские степи.

Вообще, умственная атмосфера заповедника была явно благоприятна для возникновения подобных идей. Здесь уже собрались особенные люди, ну, по крайней мере,

чего-то ищущие. На центральной усадьбе была прекрасная библиотека. Кроме того, многие книги можно было выписать через эту библиотеку для чтения. В научном отделе трудились ученые. По вечерам в клубе перед фильмом можно было пообщаться, а то и размяться за теннисным столом. Выпускалась стенная газета. Даже вокально-инструментальный ансамбль был, в коем и мне удалось поиграть на гитаре. А Валера был погружен в изучение фламенко. Учил он и языки: испанский, английский. В доме у них с Лидой царили чистота и порядок. Посреди пола, выкрашенного в солнечный желтый свет, высилась кедровая тахта, на которой обычно и возлежал хозяин, обложенный книгами. И вокруг похаживал важный кот Дядя. Валера любил кошек и говорил, что в прошлой жизни был котом. А Лида холила поросенка Машку. Но, конечно, в прошлой жизни она была какой-то птицей, вечно чистящей перья и свое гнездо. Все в ее доме сверкало.

Кстати, о чистоте. Меньшиков терпеть не мог мата. Его это коробило. Он считал это сором. А ведь язык – орудие разума. Следовательно, что-то нечисто в разуме, коли нечист язык. Может, и оттого его глаза ясно лучились. Как, впрочем, и у Лиды.

«Язык – генетический код народа, – говорил Валера. – Как говорим – так и живем».

И в присутствии Валеры лесники, трактористы, забубенные мотористы с катера «Зенон Сватош» как-то подтягивались и съедали матерок вместе с клубами сигаретного, папиросного и махорочного дыма. То есть, можно сказать, он немного вытягивал их жизнь к чистоте. Валеру Меньшикова уважительно сторонились. Все-таки был он человек наособицу. Вроде и свой, сибиряк, а фламенко какое-то играет. Хотя чудаков там хватало. И, повторю, умственная атмосфера была яснее и свежее, чем в целом по стране.

Валера вырабатывал идейную платформу не просто заповедника нового типа, но и общественной организации, аргументируя это следующим образом: «Так – партия – общественная организация на идеологической основе, профсоюз – на профессиональной трудовой основе, наша будущая – на экологической». Алексей Троицкий взялся за разработку проекта устава нового заповедника... на основе кодекса строителя коммунизма. Тут снова уместно вспомнить Василия Кесарийского, бывшего поборником киновии, то есть монашеской коммуны раннего христианства, в которой труд безвозмезден и никто не имеет никакой собственности, кроме обуви и одежды, никто никому ничего не дарит и не оставляет в наследство.

Но мы решили все же основываться не на христианстве или буддизме или даосизме, а на кодексе строителя коммунизма. Коммунизм – это братство, говорил Валера. Фашизм – затхлая кастовость. Под воздействием этого я и в армии повел речи об истинном коммунизме, очищенном от пороков позднего СССР, пошел в полковую библиотеку за Лениным и Марксом. Речи эти захватили моих друзей. И мы вступали в споры с остальными ребятами и с офицерами. Спорить-то спорили с нами, но соглашались, что так дальше жить невозможно. До крушения СССР оставались считанные годы.

Валера все вынашивал эту идею создания объединения созерцателей, которое сможет стать общественной силой. Сейчас мне на ум приходит мастер игры в бисер из романа Германа Гессе. Что-то подобное Касталии, возможно, и виделось этому сибирскому мечтателю. Касталия созерцателей, поэтов, музыкантов у кристально чистых байкальских вод, под защитой гор с заснеженными пиками.

Предвидя не только идейные битвы при попытке учреждения нашего заповедника, Меньшиков поступил на юридический факультет и учился заочно. В то время он уже выпекал хлеб в пекарне заповедника. С радостью сообщал о прибавлении единомышленников. Но и печаловался, говоря по-старинному, о том, что наш Троицкий стал уже

главным лесничим и «его окружают вниманием ..., и прельщают своей практичностью административные методы – пока Троицкий дорастет до поста директора, он соответственно переродится и никаких действий... по созданию заповедника нового типа не будет. Будет все то же». Был Алексей Троицкий остер умом, интеллигентен, начитан. Его опекали сердобольные давшинки – жительницы Давши, по-матерински заботясь о нем, чтоб был сыт, ухожен. Валера и сам называл его «нашим святым». (Позже он уехал в Москву и работал в министерстве природы, в парке Лосиный остров.)

Время шло, я уже вернулся из полка, что стоял под древним городом Газни, в Смоленск, работал в газете. А Меньшиковы перебрались за хребет – в Баргузин. Детей надо было доучивать и учить дальше. Драмы отправки осенью и зимой детей в Байкальск в интернат рвали сердце всем давшинским матерям. И Лида не выдержала. Да и с атмосферой Давши, как писал Валера, что-то происходило... Она выталкивала их. Не в последнюю очередь и потому, что Валера был многим непонятен, чужд, как коллапсар.

Есть у него такое стихотворение.

Мне особенно нравится эти строки: «– Ты наш! – несется гуд – / Прожорливый и лживый, / Вливайся в славный труд / Погони за наживой. // Но ни бурливый путь, / Ни даже воля класса / Не могут разомкнуть / Лобастости коллапса».

Эта лобастость несомненно была в Валере. И давшинский класс вытолкнул его во-вне.

В Баргузине они не задержались и, в конце концов, оказались на юге Байкала, в ста верстах от него, в бурятской степи. Это старинное старообрядческое село, воспетое Некрасовым в поэме «Дедушка»:

«— «Где ж та деревня?» — «Далёко,

Имя ей: Тарбагатай,

Страшная глушь, за Байкалом...» – рассказывает внуку вернувшийся из ссылки дед-декабрист.

Там и зажили Меньшиковы. Валера стал народным судьей. Тут у меня сразу возникают ассоциации с судьями из китайской классической литературы, Китай-то там совсем рядом. Во многих произведениях появляется, например, честный судья Бао.

Вольную раскольничью бороду ему пришлось подрезать. Таковы были требования вышестоящих. Ради дела Валера пошел на это. Его полюбили местные, в том числе и за бороду, хотя появились, разумеется, и враги. Им-то прежде всего борода и не нравилась. Ну а на самом деле то, как он разбирал дела и выносил решения. А он назначал пустячные наказания за пустячные правонарушения, тогда как всем хотелось кар. Но какие кары применять к ладному баянисту, танцору, чья вина лишь в том, что у него веселый нрав, который делается еще веселее от чар выпитых? И Валера обходился предупреждениями, а то и вовсе прекращал дело за «малозначительностью». Ну, в крайнем случае, назначал малый штраф. Валера вообще взирал на музыкантов с благоговением. Они представлялись ему людьми не от мира сего. Вот приводят очередного нарушителя, учинившего драку на танцах. Из-за чего? Из-за тромбона. Как это? Спор там зашел о музыке, кто-то превозносил барабаны и гитары, а девушка Тромбона сказала, что любит тромбон. Тут посыпались злые насмешки. А он-то, игрок на тромбоне, здесь оказался. Ну и слово за слово — вспыхнула потасовка. У Тромбона косая сажень в плечах, навешал обидчикам... Только все показали, что драку начал именно он. Валера внимает всем этим подробностям, но уже знает, что игра на тромбоне — смягчающее обстоятельство.

Коллеги считали Валеру «юристом-романтиком». Но не один он был таким. Многим в пору перемен казалось, что суд будет выше правоохранительных органов. Валера с уважением отзывался о Зорькине, Федорове, Пашине. Романтизм Меньшикова питался не иллюзиями, а законами: написан закон — исполняй. Вот и все. Но в России именно это и есть романтизм, витание в эмпиреях, короче — маниловщина. Когда месяцами не выдавали зарплату, судья Меньшиков попытался настоять на букве закона, он буквально захотел отыскать учительскую зарплату, с таким иском обратилась одна пожилая учительница. И Валера постановил: арестовать автомобиль районного финотдела. Раз нет у вас денег для учительницы, то и сами не тратьте деньги на бензин и вообще продайте автомобиль и выплатите положенное учительнице. Не вышло. Попробовал затем снять деньги для зарплаты учительнице с федеральных счетов в казначействе, и тут ему быстро объяснили, что не за тот гуж народный судья взялся.

Разумеется, благосостояние судьи от всего этого не улучшилось. Валера описывал один спор в поезде с отставником, служившим прямо в министерстве обороны кем-то. Отставник заявлял, что человек рожден, чтобы иметь, а Валера — что человек рожден быть, а то, что он имеет, дело второстепенное. Отставник возражал: быть и значит иметь. В конце концов, спросил, какой марки у Валеры авто. И Валера спекся, у него кроме велосипеда никогда никакой техники не было. Нет! Все же в Тарбагатае он обзавелся мотоциклом «Юпитер – 5», правда, с рук и не на ходу. Так этот мотоцикл и стоял безмолвным укором народному судье в сарае. Валера завешивал его мешками из-под картошки. А зря. Глядишь, в том философском диспуте с отставником и ответил бы веско: «Имею».

Но уж иметь он вовсе не склонен был. А вот быть хотел.

В письмах он сообщал о своем житье-бытье, о зимних вечерах, когда он сидел с гитарой, наигрывая фламенко, Лида читала, в поселке завывал степной дикий ветер, печь тихо гудела, по комнате похаживал кот, — все, как у Фета, писал Валера. И рассуждал о том, что если есть судьба, то есть и вечность как полнота времен, и, следовательно, мы существуем на двух уровнях: во времени как корпускулы и в вечности как волна...

Его письма поддерживали нас в минуты, как говорится, роковые. Валера называл нас родней по давшинскому кислороду в крови и относился к нам по-отечески, ну, или как старший брат. Меньшиковы звали нас в гости хотя бы на месяц. Готовили нам светелку, рассказывали о всяких разносолах, которые поджидают нас. Сулили экскурсию на Байкал, а то и в Давшу, тихо пустевшую все годы новой России. В конце концов, там остались всего несколько человек. Лесники работали в заповеднике вахтовым методом. Долгие годы заповедник возглавлял Геннадий Андреевич Янкус. В ту пору, когда мы пытались подступиться к созданию заповедника нового типа, отношение к директору было скептическим. Но теперь-то стало ясно, как много хорошего он делал для охраны уникальной баргузинской природы. С этим соглашался и Валера.

Идея нашего заповедника осталась... где-то там, во времени, некий мысленный образ витает над бирюзой и снегами сибирского моря.

Жизнь Валеры трагически пресеклась.

Но байкальский кислород, давшинский, как писал он, тот кислород, что роднил нас, все же остался светлыми пузырьками в нашей памяти, в письмах и, как кажется, в его неприятельных, но искренних и чистых стихах, — как опровержение его самоопределения: коллапсар. Нет, от его личности все же исходит свет.